

А. С. ОРЛОВ

Литературные источники повести о Мамаевом побоище

При изучении средневековой литературы весьма важно определение приемов творчества. Наиболее обнаруживаемым приемом является литературное заимствование, которое в средневековье не достигало сложных форм. Значение заимствования отрицать не приходится, потому что, например, им определяется круг чтения данного автора, не определяемый другим способом. Если же определен круг авторской начитанности, возможно оценить и отбор материала, извлеченный автором для своих целей. Таким образом, наравне с другими способами определения классовой сущности памятника, и определение заимствования является показательным. Ни одна из деталей заимствования не устранима из наблюдения, следует только понять ее значимость. К сожалению, до сих пор мы не имеем ни методики этих наблюдений, ни элементарных пособий. Приходится опираться на свою начитанность в сыром материале и на память.

В отношении определения заимствований более других посчастливилось агиографическому и историческому жанрам, в особенности историческому. Это объясняется преимущественно тем, что и жития и исторические повести находили себе источник в сборниках определенного состава, и сами входили в эти сборники, где и подвергались их общему литературному режиму, благодаря чему образовывались житийный и повествовательный шаблоны. В отношении заимствования исторических повестей большую роль сыграла судьба «Слова о полку Игореве», памятника необычного стиля, что вызвало искание параллелей его художественным данным и попутно определило группу других воинских повестей иного стиля, который оказался общим для этих последних.

Литературные источники воинских повестей в основе, однако, весьма сложны. Правда, они соединены в сборниках определенного состава, но этот состав сложился из произведений не одного жанра, да и самые сборники вариировались с течением времени. Так, например, древний компиля-

тивный хронограф и его дальнейшие виды и подобиа заключали в себе разные по стилю переводные произведения, охватывая стилистические периоды от библейской эпохи до поздневизантийской. Да и сами эти произведения, входившие в хронографические компиляции и главным образом через них влиявшие на русскую повесть, заключали в себе данные разных жанров. Возьмем, например, источники хроники Георгия Амартола. Он пользовался светскими и церковными историками, античными и византийскими, жителями, патериками, проповедниками и полемистами, ветхим и новым заветом.

Но как бы ни были сложны в далекой основе источники средневекового русского повествования, нам кажется, искать их следует не в исходных, так сказать, памятниках, некогда объединенных произведениями в роде Амартола, и даже не в одном комплексном произведении в роде Амартола, а в компиляциях, куда входил целый ряд хронографических произведений. Следует только иметь в виду, что хронографических компиляций было несколько, и они то сосуществовали, то сменяли одна другую.

Конечно, не одними хронографами исчерпываются источники русского повествования. Мы привели их только как пример, отражающий нашу основную идею — искать литературные источники не в библиотеке отдельных произведений, а прежде всего в «энциклопедиях», составленных из отдельных произведений, именно — в сборниках определенного состава. Конечно, средневековые русские историки пользовались и не только сборниками, да притом сборниками историческими только. Не говорим уже о том, что самое нахождение большинства русских исторических повестей в летописи, для которой они составлялись, обуславливало влияние на них приемов летописателей.

Исходя из этих общих положений, попробуем доработать исследование одной исторической повести со стороны ее источников, не исчерпанных предшествующими исследователями. Заранее предупреждаем, что выводы окажутся гипотетичными, но, может быть, самый процесс образования гипотезы даст нечто новое для методики заимствования.

Три, если не все четыре, основных повести о Мамаевом нашествии и побоище дошли до нас не в первоначальном виде, подвергшись частью разложению, частью перекрестному воздействию, а также редактированию — в зависимости, например, от передвижки некоторых из них по летописным сборникам — следуя терминологии Шахматова: от княжеской Московской летописи до владычной Новгородской, до общерусского митрополичьего свода (первой четверти XV в.) и так далее.

Оставляя в стороне гипотезы о первоначальном виде повестей, посвященных Мамаевщине, и о взаимоотношении содержащих их летописей, которое служило для исследователей одним из оснований построения генеалогии самих повестей, остановимся на литературных источниках одной из этих повестей.

Самая ранняя, так называемая «Летописная повесть» о Мамаевом побоище, основанная главным образом на схеме и стилистике летописного жития Александра Невского и частью на стилистике паримийного чтения о Борисе и Глебе, этими источниками едва ли исчерпывается. Взять, например, изображение отчаяния Мамаю: «Рече к себе Мамай: власи наши растерзаются, очи наши не могут огненных слез источати, языци наши связаются, гортань ми пресыхает и сердце раставает, чресла ми растерзаются, колене ми изнемогают, а руже оцепеневают». Мы отказываемся теперь видеть здесь подражание плачу Бориса по умершем отце («сердце ми горит, душа ми смысл смущает...», см. лекции А. С. Орлова, 1916, стр. 136), скорее здесь влияние отчаяния Валтасара, как оно изображено в библейской книге пророка Даниила, гл. 5, ст. 6, — например, в видении Даниила по Еллинскому летописцу: «тогда царю лице изменися и размышления его смущахуть и совузе чресл его расслабяхуся и колене его сражастася». Текст данной цитаты почти совершенно одинаков для пророчеств Даниила, как бы они ни оформлялись, в виде ли отдельной книги, или включенной в какой-либо сборник, церковный или исторический. Однако, в интересах установления круга источников «Летописной» повести необходимо было бы точнее определить, от какого оформления пророчеств зависит цитата. А для этого следует пересмотреть и другие места «Летописной» повести, где возможно заподозрить пользование чужой литературной продукцией.

Прежде всего пересмотрим лексику повести и остановимся на выражениях, необычных в летописи. Наше внимание привлекло к себе употребление термина «местный». Дмитрий Донской собрал 150 тысяч воинов «опрочно рати князей и воевод местных» (Новг. IV, стр. 77). Воеводы других областей, кроме Московской, конечно, могли бы называться «местными». Но кроме «Летописной» повести, такого применения названия в русских произведениях, ей предшествующих, мы не встречаем; впрочем И. И. Срезневский привел один случай из Литовской летописи, изданной Даниловичем, где брат Гедимины назван «местным князем» (1386 г.). Оставляя в стороне эту Литовскую летопись, по неимению сведений о ее генеалогии, продолжаем утверждать необычность термина в русской собственно летописи. В памятни-

ках переводных этот термин нередок, например, в приложении к епископу, есть он и в приложении к князю; так, по сообщению Срезневского, в хронике Малалы *τοπάρχης* переведено «князь местный». Далее в «Летописной» повести мы читаем: Дмитрий Донской «нача полци ставити и устраише их в одежду их местную, яко велиции ратници и воеводы ополчиша свои полкы» и т. д. (Новг. IV, стр. 78); «князь же исполчи свои полки великии, и вся его князи руския свои полци устроиша, и велиции его воеводы облачишася во одежды местныя» (Новг. IV, стр. 79). Такое применение термина нам кажется совершенно странным. Едва ли «одежды» нуждались в определении по областным признакам. То же впечатление странности эпитета, очевидно, испытывал и Срезневский, который отдельно привел вторую из наших цитат со специальным объяснением: «местный — праздничный». Это объяснение не поддержано у Срезневского никакими параллелями и является домыслом, попыткой осмыслить ничем неоправдываемое применение термина. По нашему мнению, автор «Летописной» повести заимствовал термин из переводной литературы и сначала употребил его в более или менее удачном применении: «воеводы местные», соответственно переводному: «князья местные». Слово, весьма книжное, ему так понравилось, что он стал им оперировать свободнее — появились и «одежды местные». Щегольство книжными, не русскими словами — вещь не редкая, судя по Галицкой летописи или Казанской истории, которые ввели в свое изложение лексику и фразеологию переводных статей компилятивного хронографа. Откуда же, однако, слово «местный» могло быть заимствовано «Летописною» повестью? В приложении к князьям Срезневский правильно отметил его в переводе хроники Малалы («князи местнии»), но не обратил внимания на то, что такое же выражение встречается и у пророка Даниила, видения которого соединены с Малалой в компилятивном хронографе: см. в начале 4-го видения, в рассказе о «златом теле» Навуходоносора — «местнии князи». Несмотря на то, что соответствующее место книги пророка Даниила (гл. 3, ст. 2 и 3) вне хронографа имеет, начиная с библии 1751 г., иное чтение, именно: «местоначальници», а не «местнии князи», это чтение, как позднее, не может свидетельствовать в пользу хронографа, ибо до половины XVIII в. во всех видах пророчеств Даниила, не исключая библии, читается одинаково: «местнии князи». Тем не менее мы настаиваем на предположении, что «Летописная» повесть пользовалась хронографом как для эпитета «местный», так и для образа Мамаева отчаяния, потому что естественнее всего русской и исторической повести пользоваться историческим же сборником, в котором термин «местный» является обычным (Малала, Даниил),

а образ отчаяния встречается в том же произведении, где и этот термин (Даниил).

Есть еще одна загадочная цитата, заимствованная «Летописной» повестью со стороны. Загадочность ее происхождения заключается в противоречии с системой заимствования, свойственной автору «Летописной» повести. Этот писатель не отличался изяществом и находчивостью. Кроме двух-трех житийно-исторических текстов и летописной стилистики вообще, он довольно механически использовал десяток популярных псалмов, и если подражал пророку Даниилу или сочинениям, вошедшим в компилятивный хронограф, то и эти подражания не свидетельствуют о его литературном вкусе. Психологические эффекты его грубы и несамостоятельны. И вот на фоне его шаблонной работы мы сталкиваемся с замечательной цитатой, которую едва ли ему было свойственно подметить без сторонней помощи. Услышав о переходе русским войском Оки и о вступлении во вражескую землю, во всех городах, а особенно в Москве, женщины запечалились и заплакали, как библейская Рахиль о своих детях. «И бысть в граде Москве туга велика и по всем его пределом плачь горек и глас рыдания сиречь в высоких: Рахиль же есть рыдание крепко, плачущися чад своих с великим рыданием и вздыханием, не хотя утешитися, зане пошли с великим князем на острая копья». Издатели Новгородской IV летописи, где помещен один из лучших видов «Летописной» повести о Мамаевом побоище, сделали к этой цитате примечание: «сие место, испорченное в списках, заимствовано из пророка Иеремии, гл. XXXI, ст. 15». В славянском переводе книги пр. Иеремии соответствующее место, взятое в несколько расширенном объеме (стихи 15—17), читается так: «Тако рече господь: глас в Раме слышан бысть плача и рыдания и вопля: Рахиль плачущися чад своих и не хотяше утешитися, яко не суть. Тако рече господь: да почиет глас твой от плача и очи твои от слез, яко есть мзда делом твоим, глаголет господь и возвратятся от земли вражия; и есть надежда последним твоим, глаголет господь, и возвратятся сынове твои в пределы своя». Рахиль, как символ неутешной матери, упомянута и в евангелии (Матфея гл. 2, ст. 17 и 18): «тогда сбытся реченное Иеремием пророком, глаголющим: глас в Раме слышан бысть, плачь и рыдание и вопль мног: Рахиль плачущися чад своих и не хотяше утешитися, яко не суть». Хотя автор «Летописной» повести мог не только читать, но и слышать чтение о Рахили в церкви на второй день рождества, однако, едва ли он был способен уловить ценность этого образа и простое изящество его выражения. Он даже не сумел применить его с литературной ловкостью, и мы думаем, что упрек издателей Новгородской IV летописи

в испорченности цитаты следует отнести не к переписчикам «Летописной» повести, а к самому ее автору.

Замечательно, что цитата о Рахили, нескладно отраженная «Летописной» повестью, встречается в сербском повествовании о Косовской битве 1389 г. и о гибели там царя Лазаря, именно в житии Стефана Лазаревича, сочиненном Константином Костенчским в 1431—1432 г.: «Тогда же, тогда не бяше места в всей стране той, идеже умиленный глас рыдательный и вопль ничесому же подобяшеса, не слышаашеса, елико и воздух исполняти яко убо ти в пределех сих Рахиль плачушися и не хотяше утешитися не чад своих точно, но с богоизбранным господином, яко несть и не суть». Позволяем себе предположить, что именно под влиянием такого выдающегося литератора, как Константин Костенчский, мотив неутешной матери в образе Рахили проник и к нашему книжнику. В тексте этого последнего можно допустить и пророческую или евангельскую реминисценцию, вызванную церковным оглашением. Но все же стимулом к включению данного мотива в «Летописную» повесть послужило именно сербское житие Стефана Лазаревича, где говорится о плаче по всем местам страны, о чадах купно с их господином, о вопле, наполнившем весь воздух, чего нет ни у Иеремии, ни у Матфея, но есть у автора «Летописной» повести. Мы склонны объяснять непонятное «и слышан бысть сиречь в высоких» неудачной перелицовкой слов Костенчского: «... не слышаашеса, елико и воздух исполняти». Вульгарное на русский слух «воздух» было заменено словом «высокая», т. е. небо.¹ Это, конечно, только догадка.

О Рахили упомянуто еще в одном русском, но более раннем произведении, именно в житии Стефана Пермского, составленном в исходе XIV века Епифанием Премудрым: по поводу смерти Стефана (1396 г.) «жалостно плачется церкви Пермская, неутешимо и болезнено рыдает и не хотяше утешитися, яко некому утешити ея. Якоже древле Иеремия пророк рече: глас в Раме слышан бысть, плачь и рыдание и вопль мног: Рахиль плакашеса чад своих и не хотяше утешитися, яко не суть». Нет сомнения, что цитата жития Стефана Пермского стоит в стороне, так как автор «Летописной» повести никак не обнаружил знакомства с содержанием и стилем этого труда Епифания и так как в деталях автор повести совпадает именно с цитатой жития Стефана Лазаревича.

Если верно, что именно автор, а не редактор «Летописной» повести пользовался житием Стефана Лазаревича, то последствий этого факта много.

¹ Ср.: ὁ ἄνω = ἐπουράνιος — Joann. 8, 22, Paul. Galat. 4, 26; ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ — Paul. Phil. 3, 14; Col. 3, 1, 2 (из лексикона Sophocles'a, s. v. ἄνω); πρὸς τὸ ἄνω — Thes. Stephani, s. v. ἄνω.

Во первых: «Летописная» повесть сочинена после 1431 г.; во вторых: или «Летописной» повести не было в общерусском летописном своде 1423 г. (вопреки мнению А. А. Шахматова), или этот свод составлен после 1431 г.; в третьих: так как в хронографе, дошедшем от серба Пахомия, житие Стефана Лазаревича уже сокращено и не имеет цитаты о Рахили, значит — или «Летописная» повесть пользовалась отдельным списком жития, или в основном виде хронографа Пахомия это житие сначала помещалось полностью; в четвертых: если вообще «Летописная» повесть пользовалась компилятивным хронографом, то не пользовалась ли она им в композиции серба Пахомия?

Независимо от установления года, после которого возникла «Летописная» повесть, можно с точностью назвать год, до которого она уже существовала. Совершенно неоспоримо установлено Н. П. Лихачевым и А. А. Шахматовым, что «Летописная» повесть вместе со своим «местным» термином повлияла на ту часть слова похвального инока Фомы великому князю тверскому Борису, которая составлена в 1453 г. Если не учитывать предположения А. А. Шахматова, что «Летописная» повесть перешла из общерусского свода 1423 г. в Новгородский свод 1448 г., то, по нашему предположению, она была составлена между 1431 и 1453 годами.¹

Что же касается жития Стефана Лазаревича, то в XV веке оно было весьма у нас популярно. Почему-то до сих пор не отмечено, что оригинальный эпитет Батыя «молнииная стрела» попал в повесть о разорении им Рязани именно из этого жития. Следовательно, эта повесть имела в ряду своих источников не только повесть Нестора-Искандера о взятии Царьграда в 1453 г., но и житие Стефана Лазаревича, повидимому объединенные каким-то хронографическим сборником.

¹ Мы совершенно отрицаем пользование Епифанием Премудрым какой-либо повестью о Мамаевом побоище, хотя в тексте жития Сергия Радонежского, составленного Епифанием в 1417—1418 г., есть глава «О победе еже на Мамая». Эта глава принадлежит не Епифанию, а Пахомию Логофету, переработавшему и дополнившему Епифаниево житие Сергия.